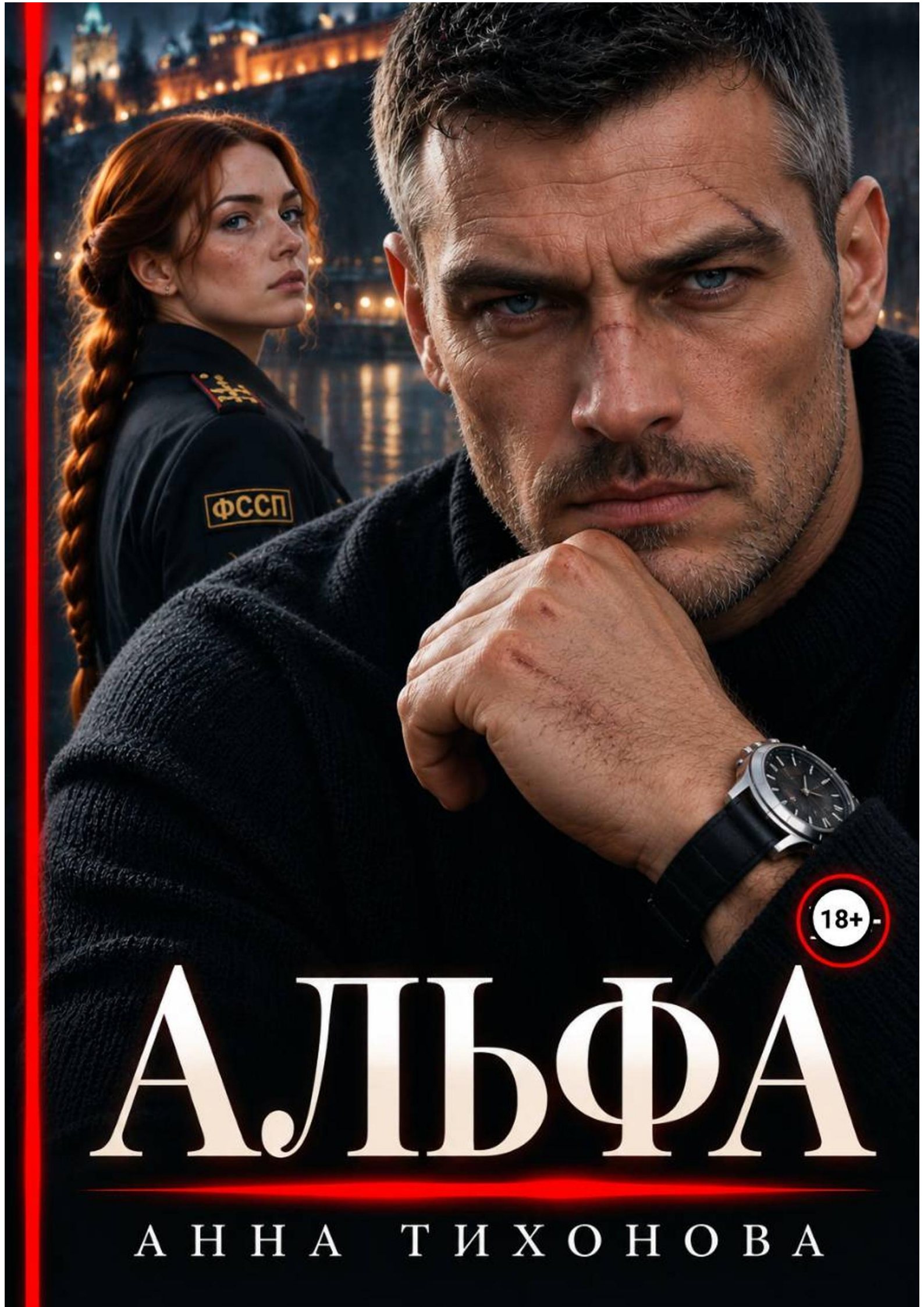


АЛЬФА

АННА ТИХОНОВА

Анна Тихонова

Альфа

«Автор»
2026

Тихонова А.

Альфа / А. Тихонова — «Автор», 2026

Он десять лет запрещал себе чувствовать. Она оказалась единственной, кто не испугался подойти ближе.Демьян Ярцев — бывший майор спецназа, владелец бойцовского клуба и человек со стосорокамиллионным долгом, который он не пытается оспорить. В его левом кармане замерли детские часы на 11:42 — напоминание о трагедии в Дзержинске, за которую он расплачивается одиночеством, уверенный, что рядом с ним слабые не выживают.Судебный пристав Вероника Воробьёва не слабая. Она отказалась от полумиллиона за молчание и полезла в бумаги, где не сходились подписи. Но чем глубже она копает в его деле, тем сильнее становится то, чего не было ни в одном протоколе: упрямая, обжигающая близость между двумя людьми, которые не имели права влюбиться друг в друга.Пока Вероника приближается к правде о том, кто из самых близких людей предал Ярцева четверть века назад, ставки меняются. Теперь на кону не только чужой долг и тайна Дзержинска — на кону их право остаться рядом, когда правда вскроется.18+

© Тихонова А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Альфа 5
Пролог 5
Глава 1. Пигалица 7
Глава 2. Гражданин должник 13
Глава 3. Воскресенье 18
Глава 4. Двенадцатое августа 23
Глава 5. Воспрепятствование 28
Глава 6. Ринг 33
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Анна Тихонова
Альфа

Альфа

Пролог

Дзержинск, 17 марта 2014 года

В подъезде пахло кислой капустой и кошками. Демьян потом несколько лет не мог есть кислую капусту. С кошками было проще: он их и до этого не любил.

Пятиэтажка на улице Гайдара, третий подъезд, четвёртый этаж, квартира сорок семь. Дверь обита коричневым дерматином, из прорези на уровне глаз торчит клок ваты. За дверью — Роман Ларин, сорок два года, слесарь, четвёртые сутки в запое, двустволка шестнадцатого калибра. И дочь. Варя. Семь лет.

Жена Ларина стояла внизу, у подъезда, в халате под чужой курткой, и не плакала. Она просто смотрела на окна четвёртого этажа и держала в руках детский ранец — розовый, с единорогом. Ранец Демьян запомнил. Сейчас нельзя было думать про ранец, и поэтому он запомнил его навсегда.

Три часа шли переговоры. Переговорщик из области, усталый подполковник с голосом сельского учителя, три часа говорил с дерматиновой дверью. Дверь отвечала матом, потом плачем, потом снова матом. Один раз — в начале второго часа — из-за двери донёсся тоненький голос:

— Пап, я писать хочу.

И мужской — хрипло, странно ласково:

— Терпи, зайчик. Мамка придёт — пойдёшь.

Демьян стоял на площадке между третьим и четвёртым, в бронежилете и шлеме, и слушал. В такие секунды он всегда очень внимательно слушал. Тридцать один год, майор, старший группы. У него за плечами был десяток мест, которые он помнил слишком хорошо, и один Беслан, который он зелёным курсантом смотрел по телевизору в казарме. Он знал, как звучит человек, который сейчас выстрелит. И как звучит человек, который сейчас заплачет и откроет.

Ларин звучал как второй. Почти. Ещё полчаса — и откроет.

— Ждём, — сказал Демьян в гарнитуру. — Он сломан. Ждём.

На площадке выше, у самой двери, стояли двое. Шмель — Мансур, который в свободное время вязал носки и никому не позволял на этот счёт шутить. И Кирилл. Кирилл Решетов, зам и друг, с которым они делили комнату в общаге ещё лейтенантами. Кирилл терпеть не мог, когда ждут. Он даже в очереди в столовой стоять не мог.

Из-за двери послышался стук. Потом скрежет — будто по полу тащили табуретку.

И в тот же миг в гарнитуре кто-то сказал одно слово. Короткое. То, после которого идут.

И они пошли.

Демьян не давал этого слова. Он понял это уже на бегу, уже на ступенях, уже когда дверь с клоком ваты влетела внутрь, — но думать об этом было некогда. Когда группа пошла, останавливать её нельзя. Остановить группу на пороге — хуже, чем не останавливать.

Выстрел был один.

Демьян потом много раз прослушивал запись. Один. Не два. Второй ствол остался заряженным, и Ларина взяли живым, и он сидел потом на полу в прихожей, в наручниках, и смотрел перед собой и повторял одно и то же: «Я же ей сказал — терпи. Я же сказал».

Демьян не смотрел на него.

Демьян стоял в дверях маленькой комнаты с розовыми обоями и смотрел на ковёр. На ковре лежали часы. Детские, пластмассовые, с зайцем на циферблате. У зайца были длинные уши — стрелки. Большое ухо стояло на восьми с небольшим, маленькое — на одиннадцати. Одиннадцать сорок два. Ремешок лопнул, стекло треснуло, и заяц больше не двигал ушами.

На Варю он смотреть не стал. В комнату уже бежали медики, и по тому, как они вдруг перестали бежать, всё было понятно.

Он нагнулся, поднял часы и сунул в карман разгрузки. Никто не видел. То есть Шмель видел, но Шмель всегда всё видел и никогда ничего не говорил.

Внизу, у подъезда, закричала женщина с розовым ранцем. Демьян слышал этот крик всю дорогу до Нижнего, хотя окна в автобусе были закрыты. Потом слышал его на разборе. Потом — ночами, лет пять, пока не научился не спать так крепко, чтобы слышать сны.

На разборе полковник спросил, кто дал команду на штурм.

В кабинете стало тихо. Кирилл сидел напротив, белый, с прикушенной губой, и смотрел в стол. У Кирилла была жена на восьмом месяце и очередь на квартиру. У Демьяна не было ничего. Только часы в кармане.

— Я, — сказал Демьян. — Я дал.

Шмель, стоявший у окна, медленно повернул голову и посмотрел на него. Долго. А потом отвернулся к окну снова. И ничего не сказал. Как всегда.

Рапорт Демьян подал через месяц. В тот день он впервые произнёс про себя фразу, которую потом повторял десять лет — не вслух, вслух он вообще ничего не повторял, а так, внутри, как счёт перед прыжком:

Слабые рядом со мной не выживают.

А часы с зайцем так и остались у него в кармане. Сначала разгрузки. Потом джинсов. Потом дорогих костюмов, которые он ненавидел. Всегда в левом. Всегда на одиннадцати сорока двух.

Десять лет они никому не мешали.

Пока в его клуб не пришла одна пигалица с папкой и не заставила его вывернуть карманы.

Глава 1. Пигалица

Нижний Новгород, 7 декабря 2024 года

У каждого пристава есть список должников, к которым не хочется ходить. Официально такого списка нет, его нет ни в одной базе, но у каждого он есть, в голове, и обновляется каждый квартал.

У меня в этом списке всегда были:

гражданин Терехов с улицы Космонавта Волкова, который не платит алименты семь лет и при каждом визите плачет, а потом требует книгу жалоб;

гражданка Мусина с четырнадцатью кошками и кредитом за шубу;

дедушка Серафимов, который при слове «пристав» достаёт из-за шкафа наградной кортик и начинает рассказывать про Афган. Кортик не точёный, я проверяла. Афгана тоже не было, дедушка Серафимов служил в стройбате под Кировом.

В понедельник, седьмого декабря, в девять сорок утра, в списке случилась перестановка. Гражданин Терехов, гражданка Мусина и дедушка Серафимов дружно переехали вниз, а на первое место встал один человек.

Ярцев Демьян Андреевич. Тысяча девятьсот восемьдесят третьего года рождения. Поручитель по кредитному договору ООО «ВолгаСтрой». Сумма взыскания — сто сорок миллионов двести тридцать тысяч рублей с копейками. Имущество должника: нежилое здание, Нижне-Волжская набережная, там спортивный клуб. И ещё «Гелендваген», цвет серый матовый.

На фотографии в деле у гражданина Ярцева было лицо, какие вешают в дежурке под надписью «Розыск». И ещё — я забила в поиске — пять страниц статей со словами «бывший офицер спецназа», «бойцовский клуб» и «избил на парковке». Про парковку дело закрыли за примирением сторон. Избитый, судя по всему, очень быстро захотел мириться.

— Может, его в среду? — спросил Лёва Гуревич, глядя на набережную через лобовое стекло нашей служебной «Гранты» так, как смотрят на зубной кабинет. — В среду у меня настроение лучше.

— У тебя в среду будет такое же настроение, — сказала я. — Только в среду он уже будет знать, что мы едем, и перепишет джип на тёщу.

Лёва вздохнул, достал из кармана пирожок с картошкой и съел его в два укуса. Лёва ест, когда нервничает. Нервничает он постоянно, поэтому весит сто десять килограммов и настаивает, что это кость широкая.

Сзади сидели Саня и Гриша из отделения по обеспечению установленного порядка. В народе — наша охрана. Саня и Гриша были хорошие ребята, сильные и спокойные, но за всю дорогу от Канавина ни разу не пошутили. Это был плохой знак. Когда Саня и Гриша не шутят, значит, они знают про должника что-то, чего не знаю я.

— Вероника Сергеевна, — сказал Гриша, когда мы остановились. — Вы там, если что, не геройствуйте. Вы за нас встаньте.

За Саней и Гришей я бы и так поместилась. Оба сразу. И ещё место для Лёвы осталось бы.

У меня рост сто пятьдесят пять. Я об этом сразу говорю, чтобы дальше не было вопросов. Сорок шесть килограммов в форме. Берцы тридцать седьмого размера, потому что тридцать шестого на складе не было и не будет никогда, это мне сказали на складе с такой уверенностью, будто склад стоит на краю вселенной и оттуда всё видно. В носки я подкладываю газету. «Нижегородские новости» подходят лучше всего: бумага мягкая и тёплая. Опытным путём установлено.

В пуховике меня вообще не видно. Бабушка говорит, что я в нём похожа на синюю палатку, которую кто-то поставил и не закрепил. Бабушка меня любит.

Клуб был в старом купеческом складе из красного кирпича, с полукруглыми окнами и чёрной железной дверью. Над дверью — одно слово, белыми буквами, без всяких там фитнес-центров и студий: «АЛЬФА». Так пишут на дверях, за которыми не очень ждут гостей.

Из-за двери доносился звук. Ритмичный, глухой, как будто там внутри кто-то забивал сваи в вечную мерзлоту.

Я поправила папку под мышкой и нажала на звонок.

Открыл нам парень лет двадцати пяти с ушами, как два вареника. Я потом узнала, что такие уши называются «пельмени» и что их заслуживают, а не получают от природы. Парень посмотрел на Саню. Потом на Гришу. Потом на Лёву — на Лёве его взгляд задержался с уважением. Потом на пустое место перед собой.

Потом опустил глаза ниже.

— Ой, — сказал он.

— Судебный пристав-исполнитель Канавинского районного отделения Воробьёва Вероника Сергеевна, — сказала я и показала удостоверение. Быстро, чётко, на одном дыхании — это мой личный рекорд, пять с половиной секунд. — У меня исполнительное производство в отношении Ярцева Демьяна Андреевича. Он здесь?

Парень с ушами-пельменями посмотрел на удостоверение, на меня — и обернулся вглубь зала и заорал над всем этим ритмичным гудением, со счастьем и без малейшего уважения:

— Демьян Андреич! Тут к вам пристав! Маааленький!

Ритмичное гудение оборвалось. Вместо него из зала донёсся смех — не один, а сразу человек пятнадцати, густой и низкий, так смеётся раздевалка в армии.

Я вошла.

Зал был огромный. Старые кирпичные стены, чёрные балки под потолком, на балках — цепи, на цепях — груши, чёрные, красные, одна старая, коричневая, перемотанная скотчем так, что скотча было больше, чем груши. Пахло железом, потом и чем-то аптечным, спиртовым. В красном углу — иначе его не назовёшь — стоял ринг.

Вокруг ринга стояли мужчины. Я их пересчитала про себя, по привычке — в акте потом писать «в присутствии». Четырнадцать. Пятнадцатый — уши-пельмени у меня за спиной. И все четырнадцать одинаково смотрели на меня сверху вниз и улыбались так, как улыбаются на видео, где котёнок шипит на ротвейлера.

А на ринге стоял пятнадцатый.

Шестнадцатый, простите.

Он стоял, взявшись одной рукой за канат, и смотрел на меня. В серой футболке, чёрной на груди от пота, с бинтами на кистях. Я попыталась понять, какого он роста, и не смогла, потому что он стоял на ринге, а ринг сам по себе был мне по грудь. В деле написано было: сто девяносто два. В деле, по ходу, преуменьшили.

Лицо было то же, что на фото, только хуже. Перебитый нос. Шрам через левую бровь, как будто бровь когда-то разрезали пополам и неаккуратно сшили. И глаза. Глаза были светлые-светлые, голубые, почти прозрачные, как лёд на Волге в начале декабря. Каждую зиму кто-нибудь решает, что по такому льду уже можно ходить. И каждую зиму про него пишут в тех самых «Нижегородских новостях», которые у меня в берцах.

Он смотрел на меня секунды три. Потом перевёл взгляд на Лёву, и на Лёве взгляд стал каким-то деловым, взрослым. Обращённым к начальнику.

— Слушаю, — сказал он Лёве.

Голос был низкий, не громкий. Но такой, что у меня по спине под пуховиком прошла дрожь. Так иногда дрожит пол в метро, когда подходит поезд.

Лёва посмотрел на меня с отчаянием. Лёва старше меня на пять лет, тяжелее на шестьдесят пять килограммов и ниже меня по должности, потому что три года назад отказался от повышения со словами «а если на меня будут кричать?».

— Это не ко мне, — честно сказал Лёва. — Это к ней. Она старшая.

И вот тут он спустился с ринга.

Не спрыгнул — именно спустился, вальяжно, пролезая между канатами так, будто канаты сами раздвинулись перед ним из уважения. И пошёл ко мне. И с каждым его шагом я понимала, что в деле не преуменьшили. В деле написали честно. Просто цифра «сто девяносто два» на бумаге выглядит совсем не так, как живьём.

Он остановился в шаге. Мне пришлось задрать голову. Он наклонился. Немного. Так наклоняются к ребёнку, который потерялся в супермаркете.

— Пигалица, — сказал он почти ласково. — Ты дверью ошиблась. Детская секция — на Рождественской.

Раздевалка заржала снова.

А у меня в груди что-то щёлкнуло. Тихо-тихо, как срабатывает старый замок на бабушкином пианино. Слово «пигалица» я слышала в своей жизни очень много раз. И больше всего — от одного человека. Он говорил его точно так же, почти ласково, когда надо было напомнить, кто в доме главный. «Ты без меня никто, пигалица». И уходил, и хлопал дверью, и потом три дня ждал, что я позвоню первой.

В третий раз я не позвонила. И вот уже три года плачу за его «Киа Рио», но это уже совсем другая история.

И случилось со мной то, что случается всегда, когда мне очень плохо. Я стала очень вежливой.

— Гражданин Ярцев, — сказала я. Голос вышел ровный, даже приятный. Таким голосом объявляют посадку в аэропорту. — Для вас я лейтенант внутренней службы Воробьёва. Пигалица я в нерабочее время, и то не для вас. Возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа Канавинского районного суда. Срок для добровольного исполнения истёк. На основании статьи восьмидесятой Федерального закона «Об исполнительном производстве» я накладываю арест на ваше имущество. Сейчас будет произведена опись. Прошу не мешать. Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава — статья семнадцать точка восемь Кодекса об административных правонарушениях. От тысячи до двух с половиной. Для вас, понимаю, не деньги, но в дело вносится.

Раздевалка перестала ржать.

Не сразу — кто-то продолжал до «восьмидесятой», кто-то до «семнадцать точка восемь». Но на «в дело вносится» замолчал последний. Стало слышно, как скрипит цепь на самой дальней груше.

И гражданин Ярцев перестал улыбаться.

Улыбки у него, собственно, и не было. Было что-то в уголке рта, что могло бы стать улыбкой, если бы ему дали дорасти. И вот оно пропало. И лицо стало таким, что я вдруг поняла, почему избитый на парковке так быстро захотел мириться.

— Какой долг? — спросил он тихо.

— Сто сорок миллионов двести тридцать тысяч семьсот одиннадцать рублей сорок две копейки. Вы поручитель по кредиту ООО «ВолгаСтрой». Решение суда вступило в законную силу двадцать третьего ноября.

Сорок две копейки я сказала нарочно. Я всегда говорю копейки. Копейки ставят человека на место лучше любой статьи.

Но на этого человека копейки не подействовали. На него подействовали другие слова. Я видела, как на «ВолгаСтрое» у него дёрнулись желваки. Один раз. Как будто он что-то раскусил.

— Я ничего не подписывал, — сказал он.

— Все так говорят.

— Я — не все.

— Это тоже все говорят, — сказала я. — Решение суда можно обжаловать. А мои действия — в суд или старшему судебному приставу в десятидневный срок. Адрес написан в постановлении. Лев Маркович, начинаем.

И я обошла его.

Вот просто взяла и обошла, как обходят фонарный столб. И пошла к рингу, и слышала за спиной тишину такую, что у меня сами собой сжались пальцы на папке. Такая тишина бывает перед тем, как что-нибудь упадёт.

Ничего не упало.

Опись заняла три часа сорок минут. Я люблю опись. Это странно звучит, но я люблю. В описи всё понятно. Вот вещь. Вот её название. Вот приметы. Вот состояние: новое, б/у, с повреждениями. Вот предварительная стоимость. Никаких чувств. Никаких «а если». Груша боксёрская, кожа, чёрная, высота сто семьдесят сантиметров, б/у, имеются потёртости. Штука одна. Внесено в акт.

Лёва фотографировал. Саня и Гриша стояли у входа с лицами людей, которые делают вид, что не считают, сколько тут человек. Четырнадцать бойцов расселись по скамьям вдоль стен и смотрели на меня. Уже не как на котёнка. Как на котёнка, который вдруг достал из пуховика рулетку и начал обмерять ротвейлера.

А гражданин Ярцев ходил за мной.

Не следом, не рядом — он держался метрах в двух, сбоку, и ничего не говорил, и от этого было хуже, чем если бы он ругался. Я чувствовала его спиной. Лопатками. Затылком. Всеми ста пятьюдесятью пятью сантиметрами, каждым по отдельности.

Один раз он сказал. Когда я дошла до старой коричневой груши, перемотанной скотчем.

— Эту не трогай.

Я обернулась. Он стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел не на меня — на грушу.

— Это имущество должника, — сказала я.

— Это мусор. Ей двадцать лет. Она стоит ноль рублей.

— Тогда её тем более можно описать. Вам не будет жалко.

Он посмотрел на меня. И на какую-то долю секунды в этих ледяных глазах проснулось что-то, от чего у меня пересохло во рту. Так смотрит собака, у которой пытаются забрать старую игрушку. Не злая собака. Очень большая.

Я написала в акте: «Груша боксёрская, кожа, коричневая, б/у, сильный износ, видимые повреждения обмотаны липкой лентой. Предварительная стоимость — сто рублей».

Потом подумала — и дописала: «Оставлена на ответственное хранение должнику с правом пользования».

Я не знаю, зачем. Право пользования я оставила на всё оборудование, кроме ринга, — ринг был самым дорогим и по инструкции должен был быть опечатан. Но про эту грушу я почему-то написала отдельно. Словно кто-то моим почерком попросил у него извинения.

Он этого не видел. И слава богу.

Ринг я опечатала сама.

Для этого мне пришлось на него залезть. Ринг был мне по грудь, я это уже говорила. Я упёрлась ладонями в край помоста, задрала колено и поняла, что в пуховике это будет выглядеть как пингвин, который решил стать альпинистом. Но снимать пуховик при четырнадцати бойцах я не собиралась. В пуховике я хотя бы выглядела на сто пятьдесят семь.

Я закинула колено.

И вдруг почувствовала, как меня сзади взяли под мышки — прямо сквозь пуховик, двумя руками, как берут кота, чтобы снять со стола, — и поставили на помост. Легко. Без усилия. Словно я была не сорок шесть килограммов в форме, а пакет с батоном.

У меня от бешенства потемнело в глазах.

Я развернулась. Он стоял внизу, у края ринга, и теперь наши лица были почти на одном уровне. Почти. Ринг добавил мне сантиметров сто, и всё равно мне не хватало чуть-чуть, чтобы смотреть на него сверху.

— Вы, — сказала я очень-очень вежливо, — сейчас применили физическую силу к судебному приставу при исполнении служебных обязанностей.

— Я тебя подсадил, — сказал он. Ровно, без тени улыбки. — Ты бы тут до вечера корячилась. А мне в четыре зал открывать.

— В четыре вы зал не откроете.

И я расклеила бумажные полоски с печатями по канатам ринга, по всем четырём сторонам, на растяжки и на угловые подушки. А он стоял внизу и смотрел. И с каждой новой полоской лицо у него становилось всё спокойнее. А спокойствие у таких людей, я уже знала, — ничего хорошего не обещает.

Слезала я сама. Он сделал движение — помочь, — и я сказала «не смейте» так, что он опустил руки. И я спрыгнула. И чуть не упала, потому что берцы тридцать седьмого размера не предназначены для прыжков с ринга. И не упала. И выпрямилась. И ни разу на него не посмотрела.

На улице стоял «Гелендваген». Серый матовый, цвета мокрого асфальта. Большой, как сарай. В нём тоже было что-то от хозяина — та же уверенность, что его объедут.

Я подошла и приклеила полоску с печатью на водительскую дверь.

И тут он заговорил. Впервые за эти три часа сорок минут — громко. Не крикнул, нет. Просто сказал так, что у меня зазвенело в ушах, как будто рядом ударили по железной бочке.

— Ссука.

И во дворе стало тихо-тихо. Даже вороны на проводах перестали орать. Саня положил руку на кобуру. Гриша не положил — он просто сделал шаг и встал рядом со мной.

Я достала ручку.

— Оскорбление в адрес судебного пристава, — сказала я, записывая. — Словом «сука». В присутствии двух сотрудников ОУПДС и судебного пристава Гуревича. Внесено в акт. Ключи от машины, пожалуйста.

Он долго смотрел на меня. Потом сунул руку в карман спортивных штанов — в левый, я запомнила, — и на миг замер, будто там было что-то, что его остановило. Потом достал ключи из правого. И не дал их мне в руку. Он их бросил.

Я поймала. Одной рукой, не глядя, — в детстве я играла в волейбол либеро. Либеро ловит всё.

И у него что-то случилось с бровью. С той, что со шрамом. Она чуть приподнялась. А потом он развернулся и ушёл в клуб. И через секунду из-за железной двери донёсся звук. Один. Такой, что у Лёвы из рук выпал пирожок.

Потом мы узнали, что старая коричневая груша сорвалась с цепи.

Имущество должника. С правом пользования. Используется по назначению.

Домой я приехала в девять вечера, выжатая, как полотенце. Из клуба была ещё опись у гражданки Мусиной — кошек стало пятнадцать, шуба не нашлась, — потом три часа бумаг в отделе, потом старший пристав Ступин, который похлопал меня по плечу и сказал: «Умничка,

Воробушка, оперативно», — и это почему-то было неприятно, хотя должно было быть приятно. Потом трамвай. Потом четвёртый этаж без лифта.

На лестничной площадке пахло жареной картошкой. Из-за нашей двери доносились два голоса. Один — бабушкин, высокий, певучий, с теми самыми интонациями, какими она сорок лет объясняла солистам оперного театра, что они фальшивят.

А второй был низкий. Не громкий. Но такой, что у меня по спине прошла дрожь, как по полу в метро.

Я открыла дверь своим ключом и вошла на кухню прямо в берцах.

За нашим кухонным столом, на нашей кухонной табуретке, которая под ним выглядела как детский стульчик, сидел гражданин Ярцев. В чёрном свитере с горлом. Колени у него торчали выше стола. В руке у него были карты. На столе перед ним лежала гора битых карт. А перед бабушкой — стакан чая в подстаканнике и две шестёрки.

Бабушка подняла на меня глаза, сияющие, как на премьере.

— Никуша! Наконец-то. — Бабушка сидела прямо, как за роялем на генеральной. — Молодой человек принёс твою варежку. Ту, с оленем. Ты её во дворе обронила. — И одними глазами показала мне на подоконник. Там лежал её телефон, экраном вверх, с набранными цифрами один-один-два. А рядом стояла чугунная сковородка, которую бабушка достаёт только на блины. Блинов у нас сегодня не было. — Мы тут в подкидного, пока тебя ждём. Он уже третий раз в дураках. Совершенно нет чувства козыря. Но картошку ел вилкой.

Гражданин Ярцев положил карты рубашкой вверх на стол. Не торопясь. Поднял на меня свои ледяные глаза. И на этот раз в уголке рта у него то, что могло бы стать улыбкой, не пропало.

— Добрый вечер, лейтенант Воробьёва, — сказал он. — Нерабочее время ведь уже?

Глава 2. Гражданин должник

Тот же день, часом раньше

Груша лежала на полу, как убитая корова.

Демьян сидел рядом на скамье и разматывал бинты. Медленно, виток за витком. На правой руке костяшки были сбиты до мяса, и бинт прилип. Он дёрнул. Не поморщился. Кровь — это нормально. Кровь значит, что ты ещё что-то чувствуешь.

Зал опустел. Ребят он разогнал ещё в час, одним словом, и они ушли тихо, не глядя друг на друга. Пельмень — Колян Степанов, чемпион области в полутяжёлом, — у двери обернулся и сказал: «Демьян Андреич, а мелкая-то злая». И ушёл до того, как Демьян поднял голову. Колян был не дурак.

На ринге белели полоски с печатями. Одна отклеилась с краю и чуть шевелилась от сквозняка. Демьян смотрел на неё. Он мог бы сорвать все двадцать четыре за минуту. Он мог бы сорвать их и тогда, при ней, и никто бы его не остановил — ни двое её верзил, ни толстый с пирожком.

Не сорвал.

Потому что она бы внесла это в акт. И посмотрела бы на него снизу вверх своими серо-голубыми глазищами, в которых не было ни страха, ни злости. Была только вежливость. Страшная, как у судмедэксперта.

Демьян знал страх. Знал злость. С тем и другим он умел работать с девятнадцати лет. А что делать с пигалицей, которая смотрит на тебя, как на боксёрскую грушу б/у с потёртостями и видимым износом, он не знал.

И она поймала ключи. Не глядя.

В двухтысячном году у них в суворовском был прапорщик, который проверял кадетов именно так. Кидал что-нибудь без предупреждения — ключи, банку тушёнки, однажды живого ёжика. И смотрел, кто поймает, а кто зажмурится. Тех, кто ловил не глядя, он потом брал в разведвзвод.

Демьян ёжика тогда поймал. Не глядя. И потом неделю вынимал иглы из ладони.

Дверь за спиной хлопнула.

— Дёма, — сказал Кирилл. — Дёма, я в курсе. Не ори.

Кирилл Решетов был единственным человеком на свете, который звал его Дёмой. Кроме Алёнки. Но Алёнка сестра и хирург, ей можно. А Кирилл звал его Дёмой с лейтенантских времён, с общаги, с комнаты, где на двоих были одна плитка и одна сковородка, и сковородку Кирилл всегда забывал мыть.

Теперь у Кирилла были очки в тонкой золотой оправе, пальто цвета капучино и диплом юриста, который он получил заочно, пока Демьян строил фирму. И жена Лиля, и две дочки, и дом в Радужном, и доля в холдинге — тридцать процентов.

Он сел рядом на скамью. Посмотрел на руку. На грушу. Вздохнул.

— Я нашёл. Решение заочное, октябрьское. Повестки шли на старый юрадрес, на Стражевскую. Там сейчас шаурма. Шаурма повестки не читает.

— Я не подписывал никакого поручительства, Кир.

— Знаю, Дёма, — мягко сказал Кирилл. — Знаю. Значит, кто-то подписал за тебя. Найдём. А пока — самое главное, не ставь нас в глупое положение. Пристава не трогать. Вообще. Это самая обидчивая служба в стране. Тронешь одного — придут семеро.

— Я её не трогал.

Кирилл посмотрел на него поверх очков.

— А Колян рассказал, что ты её на ринг подсадил. Как шкодливого кота.

Демьян промолчал. Он смотрел на свои разбитые костяшки и думал про то, что она весила как мешок с перчатками. И что через два слоя пуховика он чувствовал под пальцами её рёбра. Все. По одному. И что она замерла — не от страха. От бешенства. Он почувствовал это бешенство руками, как чувствуют ток.

— Слушай, — сказал Кирилл и положил руку ему на плечо. — Я подам на отмену заочного, это три-четыре месяца. За эти три-четыре месяца они твой клуб оценят и продадут. Нужно время. А время у нас в руках у этой вашей пигалицы. Оценку можно затянуть. При желании — до лета.

— И?

— И у всех есть цена, Дёма, — сказал Кирилл ласково, как говорят о погоде. — Она получает пятьдесят тысяч, живёт в Сормове с бабкой и третий год платит чужой автокредит. И таскает берцы, в которых тонет. Хочешь, я сам съезжу?

Демьян поднял голову.

Откуда Кирилл знал про Сормово, он не спросил. Кирилл всегда всё знал. Это была его работа. За это он получал свои тридцать процентов.

— Сам, — сказал Демьян и встал.

В машине — в шмелёвской «Тойоте», потому что «Гелендваген» стоял во дворе с бумажкой на двери, и ключи от него лежали у пигалицы в кармане пуховика, — он сунул руку в левый карман и нащупал часы с зайцем, они отрезвляли, что ли.

Пластмассовые, с треснувшим стёклышком. Одиннадцать сорок два.

— Козыри черви, — сказала бабушка. — Никуша, сними сапоги. Ты в них как Адмиралтейская игла.

Я не сняла берцы. Я стояла в дверях своей кухни — шесть квадратных метров, газовая плита «Гефест» и занавеска с лимонами, — и смотрела на человека, который занимал из этих шести метров три. Кухня при нём стала какой-то кукольной. Холодильник стал ниже. Лампа над столом висела у него прямо над макушкой, и он сидел, чуть наклонив голову, чтобы её не задеть. Как жираф в стойле для пони.

— Как вы сюда попали? — спросила я.

— Через дверь.

— Я его пустила, — сказала бабушка с достоинством. — Он позвонил, представился и показал в глазок паспорт и варежку. Варежку я узнала. Паспорт сфотографировала через цепочку и отправила Зинаиде Павловне с первого этажа. Если я ей через час не позвоню, она звонит куда следует. — Бабушка посмотрела на часы. — У нас осталось тридцать восемь минут.

— Бабушка, это по работе, — сказала я. Про работу я бабушке не рассказываю. Ни про кортик Серафимова, ни про пятнадцать кошек Мусиной, ни тем более про сто сорок миллионов. Бабушке семьдесят восемь, и у неё давление, какие уж там бандиты с миллионами.

— По работе так по работе, — согласилась бабушка. — Я так и поняла. С варежкой по работе не ходят, но молодой человек, видимо, стеснительный. Твой ход, Демьян Андреевич.

И он — я не вру, у меня свидетели — покорно взял со стола карты. Посмотрел в них. Подумал. И положил короля на бабушкину даму.

— Не бьётся, — весело сказала бабушка. — Козыри черви, я же говорила. А у меня дама червовая.

У бабушки была дама бубновая. Я видела её краешек. Он тоже видел — сидел он как раз с нужной стороны. И ничего не сказал. Просто взял битые карты и переложил их себе.

Меня это испугало больше, чем всё, что было днём.

— Ба, — сказала я. — Иди к себе. Пожалуйста.

Бабушка перевела взгляд с меня на него и обратно — и что-то в моём лице ей не понравилось. Она сложила свои карты аккуратной стопочкой, рубашкой вверх.

— Смотрите мне, молодой человек, — сказала она ему, вставая. И вдруг в её голосе появилось то, что бывало в нём очень редко, — когда солист на генеральной в третий раз входил не в ту тональность. — Я сорок лет аккомпанировала тенорам. Я знаю, как выглядит мужчина, который пришёл не за варежкой. Сковородка остаётся на подоконнике. А Зинаиде Павловне я позвоню через тридцать пять минут. Если сочту нужным.

И ушла. Прямая, маленькая, в старом синем халате с брошью. Комнату за собой она не закрыла. Я знала, почему. И он, по-моему, тоже.

Мы остались вдвоём.

Я стояла. Он сидел. И даже сидя он был ниже меня совсем ненамного. Это было обидно. Я даже в собственной кухне не могла на него по-человечески посмотреть сверху.

Он полез левой рукой во внутренний карман куртки, и достал конверт. Обыкновенный белый конверт, толстый, как бутерброд. И положил его на стол. На клеёнку с лимонами. Рядом с бабушкиными шестёрками.

— Здесь пятьсот тысяч, — сказал он. Ровно, как ставят задачу на утренней планёрке. — За то, чтобы оценка шла до лета. Ошибиться в бумагах, потерять что-нибудь, заболеть. Как — сама решишь, тебе виднее. В июне ещё столько же. Кредит за чужую машину закроешь. И берцы купишь. Своего размера.

У меня похолодели пальцы на ногах. В берцах, в носках, в «Нижегородских новостях».

Про кредит за чужую машину знали три человека на свете. Я, бабушка и банк. Антон не считается, Антон про него давно забыл. И теперь про него знал четвёртый — и сидел на моей табуретке, и говорил об этом так, будто читал вслух мои смс.

Я не дотронулась до конверта. Я достала из кармана пуховика телефон. Нажала диктофон. Положила телефон на стол, рядом с конвертом, экраном вверх, чтобы он видел красный кружок.

— Восьмое декабря, — сказала я чётко, как в диктанте, — нет, седьмое, ещё седьмое, двадцать один час пять минут. Гражданин Ярцев Демьян Андреевич, должник по исполнительному производству, по месту жительства судебного пристава-исполнителя Воробьёвой предлагает пятьсот тысяч рублей за затягивание исполнительных действий. Попытка дачи взятки должностному лицу. Статья двести девяносто первая. В крупном размере. От семи до двенадцати. Продолжайте, пожалуйста.

Он смотрел на красный кружок.

Потом на меня.

Потом он встал — табуретка жалобно скрипнула, лампа качнулась и стукнула его по голове, и свет заметался по кухне, по лимонам, по его лицу, по моему. И наклонился над столом, уперевшись в него кулаками. И все шесть квадратных метров стали его.

— Выключи, — сказал он.

— Нет.

— Выключи, Воробьёва.

Голос не поднялся ни на полтона. Он опустился. Стал таким низким, что я чувствовала его уже не ушами, а грудной клеткой. Так гудит трансформаторная будка у нас во дворе, на которой нарисован череп и написано «Не влезай, убьёт».

— Вы мне угрожаете? — спросила я. И положила ладони на стол с другой стороны, и наклонилась вперёд, как он. Пусть на цыпочках. Пусть в пуховике. Пусть моё лицо было теперь на уровне его подбородка, а не груди. Уже достижение. — Тогда говорите громче. У меня телефон недорогой, микрофон плохо берёт низкие частоты.

Мы стояли так, лицом к лицу, над конвертом, над двумя шестёрками, над красным кружком. Лампа над нами всё ещё качалась, и тень его головы то накрывала меня, то отпускала.

И я видела его глаза вблизи. Впервые. И в них был не лёд.

В них была такая ярость, что лёд бы растаял в секунду. Ярость и что-то ещё, под ней, что-то совсем другое. Как у человека, который всю жизнь переходит Волгу по первому льду — и вдруг услышал под ногами треск.

Он выпрямился первым.

Взял конверт. Сунул в карман куртки. Надел куртку. На нашей кухне он надевал её в три приёма, словно парковался во дворе хрущёвки.

— Запись можешь отнести куда хочешь, — сказал он спокойно. Слишком спокойно. — Денег ты не взяла. Значит, взятки не было. Был разговор на кухне. Чай у вас хороший.

И пошёл в прихожую.

А я пошла за ним. Зачем-то. Наверное, чтобы закрыть дверь на все два замка и цепочку. Наверное.

В прихожей он остановился.

Прихожая у нас совсем маленькая, в ней одновременно помещаются либо два человека, либо один человек и вешалка. Он занял её целиком, вместе с вешалкой. И смотрел вниз.

Я проследила его взгляд.

Приходя домой, я всегда снимаю берцы на пороге. Сегодня я прошла в них на кухню, а теперь — пока он надевал куртку — бездумно стянула их, носок о пятку, по домашней привычке. И теперь они стояли у порога. Два чёрных берца тридцать седьмого размера. Из одного торчал скомканный край газеты.

Он смотрел на этот край газеты долго. Потом на мои ноги — в толстых серых носках, один с зашитой пяткой. Потом на меня. И что-то с ним случилось. Не с лицом — лицо у него не менялось, кажется, вообще никогда. С плечами. Они вдруг чуть-чуть опустились, как у человека, который долго держал тяжёлое и вдруг понял, что несёт не туда.

— Тридцать седьмой, — сказал он. Не спросил. Констатировал.

— Тридцать шестого на складе не бывает, — сказала я. И сама не знаю, зачем ответила.

Он ничего не сказал. Открыл дверь, вышел на лестницу — и там, на площадке с картошкой и лампочкой сорок ватт, обернулся.

— Бабушка твоя открывает любому, кто принёс варежку. Сковородка — это хорошо. Только в следующий раз может прийти кто-нибудь похуже меня. Запиши себе в акт, лейтенант.

И пошёл вниз. Совсем бесшумно для своих ста девяноста двух сантиметров — ни одна ступенька не скрипнула.

Я закрыла дверь. На два замка. На цепочку. Постояла. Поняла, что у меня дрожат колени, и села на пол, прямо на коврик, рядом с берцами.

Из комнаты доносился тихий звук — бабушка играла на расстроенном пианино что-то из Чайковского. Она всегда играет Чайковского, когда ей страшно. А когда весело — тоже Чайковского, только другого.

Сегодня был тот, который страшно.

Утром во вторник старший пристав Ступин вызвал меня к себе.

У Геннадия Борисовича Ступина был кабинет с фикусом и видом на гаражи. И ещё у него были усы — пышные, седые, добрые, как у дедушки из сказки. Под такими усами можно спрятать любую улыбку. Даже ту, которая стоит денег.

— Воробушка, — сказал он и показал на стул. — Как вчера? Не обижали тебя там спецназовцы?

— Нет, Геннадий Борисович.

Про кухню я ему не сказала. Запись была у меня в телефоне, в папке «Разное», между рецептом бабушкиной шарлотки и фотографией счётчика. Я её никуда не отнесла. Я сама не знала почему. Наверное, потому, что он был прав: денег я не взяла. А ещё, наверное, потому,

что на записи было слышно, как бабушка говорит про сковородку и Зинаиду Павловну. А потом — долгую тишину. И в тишине — его дыхание. Тяжёлое. Как у человека, который перестал себя держать и в последний момент себя догнал.

Нет, в акт я это не внесла.

— Умница, — сказал Ступин и погладил усы. — Теперь слушай. Ярцев — дело на контроле. Банк ждать не хочет, сумма, сама понимаешь. Оценщика я тебе сам найду, хорошего, проверенного. До Нового года — отчёт. В январе передаём на реализацию. К марту — торги. Оперативно, Воробушка. Оперативно.

— У меня сорок семь других производств, — сказала я. — У гражданки Мусиной пятнадцать кошек.

— Кошки подождут, — сказал Ступин. И улыбнулся под усами. Я не видела, как. Я услышала. У него на «подождут» чуть ускорился ритм речи, как у человека, который торопится проскочить мимо чего-то неприятного.

Дело Ярцева я открыла в обед. Снова, с первой страницы. Лёва сидел напротив и ел четвёртый пирожок за день, с повидлом, — с повидлом он ест, когда нервничает за других.

Исполнительный лист. Решение суда. Кредитный договор «ВолгаСтроя», сто сорок миллионов. Копия договора поручительства. И ещё — для розыска имущества — копия договора купли-продажи клуба девятнадцатого года из Росреестра.

Я положила их рядом. Поручительство — слева, куплю-продажу — справа.

Подпись у него была похожа на него. Короткая, тяжёлая, с резким хвостом вниз, как удар. На обоих документах.

На обоих — одинаковая.

Я не сразу поняла, что меня так зацепило. Подписи у одного человека и должны быть одинаковыми. А потом я достала из ящика линейку. Обычную, деревянную, на двадцать сантиметров, с отбитым уголком. И приложила.

Длина — три сантиметра семь миллиметров. И там, и там. Хвост вниз — восемь миллиметров. И там, и там. Маленький загиб на первой букве, как расколотый лёд, — и там, и там, до миллиметра, до точки, до крошечной кляксы в конце, где ручка на долю секунды задержалась.

Из печатной машинки два одинаковых листа выходят. Из живой руки — никогда. Это я знаю точно. Я сама подписалась три года назад под чужим автокредитом двенадцать раз подряд, на каждой странице, дрожащей рукой, под взглядом Антона, — и ни одна не похожа на другую.

— Лёв, — сказала я тихо.

— М?

— У тебя подпись всегда одинаковая?

Лёва перестал жевать, подумал и честно сказал:

— У меня всегда разная. Зависит от пирожка.

Я посмотрела на две одинаковые подписи. На дату в углу поручительства — «12 августа 2023 г., г. Нижний Новгород». На печать банка. На сто сорок миллионов.

И услышала — не ушами, где-то глубже, там, где у меня живёт привычка вносить всё в акт, — его голос. Низкий, не громкий. «Я ничего не подписывал».

Все так говорят, сказала я ему тогда.

Но не у всех такие подписи.

Глава 3. Воскресенье

Нижний Новгород, 13 декабря 2024 года

В воскресенье нормальные люди спят до обеда.

Нормальные приставы — тоже.

А я в восемь утра стояла на Нижне-Волжской набережной в своём синем пуховике, похожая на мусорный пакет, который ветром прибило к кирпичной стене, и злилась на себя так, что не чувствовала мороза.

Минус шестнадцать. Волга внизу — серая, тяжёлая, у берега уже схватилась льдом. Ветер с реки такой, что пуховик надувается парусом, и я на всякий случай держусь за водосточную трубу. Сто пятьдесят пять сантиметров, сорок шесть килограммов в форме. Унесёт — никто не заметит. Лёва потом скажет: «Была у нас Воробьёва. Улетела».

Официально я пришла проверить сохранность арестованного имущества. Статья восемьдесят шестая. Имею право. В любой день, в любое время, без предупреждения.

Неофициально — я не спала две ночи. Потому что две одинаковые подписи до миллиметра — это не подписи. Это ксерокс. А я, лейтенант Воробьёва, не могу передать на торги здание за сто сорок миллионов, пока не пойму, почему у гражданина должника рука работает как принтер.

Ну и ещё потому, что Лёва в воскресенье возит маму на рынок. А ОУПДС в воскресенье не выпросишь даже за пирожок.

Так что одна.

Да, я знаю. Нельзя. Инструкция. Бабушка бы сказала — Никуша, ты дура. И была бы права.

Я нажала на звонок.

Дверь не открыли. Зато из-за неё донёсся звук, которого я тут никак не ожидала. Не глухие удары по груше. Не мат. Не рёв раздевалки.

Детский визг.

Самый настоящий. Как в школьном спортзале на перемене.

Я толкнула дверь — она оказалась не заперта — и вошла.

В зале было человек десять.

Мальчишек.

Лет от девяти до тринадцати, в разномастных шортах и футболках, кто в кедах, кто босиком. Один — в майке «Спартак», огромной, до колен, явно с чужого плеча. Они стояли в два ряда на матах и лупили воздух. Неумело, вразнобой, с криком «КИЯ!», хотя это вообще из другого вида спорта.

А перед ними, спиной ко мне, стоял он.

В серой футболке. Босиком. С двумя лапами на руках — такие кожаные подушки, по которым бьют. И говорил. Тихо. Так тихо, что я сначала даже не поняла, что этот голос — его.

— Не плечом. Кулаком. Плечо за кулаком идёт, а не наоборот. Сева, ты кого бьёшь? Ты муху бьёшь. Ударь меня. Нормально ударь. Вот. Вот так. Молодец.

Сева — тощий, рыжий, с разбитой коленкой — ударил ещё раз. В лапу. И засиял так, будто ему вручили олимпийскую медаль.

У меня внутри что-то ёкнуло.

Не люблю, когда внутри ёкает. Это непрофессионально.

Я стояла у двери и смотрела, как два метра мышц и злости присаживаются на корточки перед рыжим Севой и поправляют ему бинт на запястье. Аккуратно. Двумя пальцами. Как поправляют крылья бабочке.

И тут меня заметили.

Не он. Самый мелкий. Чернявый, стриженный под ноль, с зубом, которого не хватало спереди, и взглядом бывалого вышибалы.

— О, — сказал он громко, на весь зал. — Демьян Андреич. Там к вам мелкая.

Десять голов повернулись ко мне.

Одна — нет. Та, которая сверху, на высоте ста девяноста двух сантиметров. Она просто застыла.

Секунду. Две. Я видела, как у него напряглась спина. Под футболкой. Каждая мышца по отдельности, как будто кто-то нажал кнопку тревоги.

Потом он медленно поднялся. И медленно обернулся.

Я много раз видела, как люди злятся. Это моя работа. Должники орут, плачут, кидаются табуретками, один раз в меня бросили аквариум — без рыб, к счастью. Злость я узнаю за километр.

Это была не злость.

Это было так, будто я вломилась к нему в ванную.

— Тимоха, — сказал он, не сводя с меня глаз. — Веди всех в раздевалку. Переодеваться. Чай в термосе, бутерброды на скамейке.

— А эта чё?

— Тимофей.

Одно слово. Без нажима. И чернявый Тимоха, у которого на лбу было написано «детская комната милиции, три привода», сразу подобрался и заорал на остальных командирским голосом:

— Всем в раздевалку! Бегом! Сева, лапу не трогай, это не твоё!

Они утопали, топоча босыми пятками. Последним уходил рыжий Сева. Он оглянулся на меня с порога — испуганно, как оглядываются на тётю из опеки. Я знаю этот взгляд. У меня в производствах полно детей, которые так смотрят.

Дверь раздевалки закрылась.

И мы остались вдвоём.

Он шёл ко мне через весь зал. Босиком по матам, неслышно. Как идут по минному полю — точно зная, куда ставить ногу.

Я не попятилась. Я никогда не пячусь. Это первое правило пристава: попятишься — тебя дожмут.

Но внутри у меня кто-то очень маленький и очень умный уже вовсю пятился и кричал: «Ника, беги».

Он остановился в полуметре. От него пахло потом, резиной матов и чем-то горьким — табаком, наверное, хотя я ни разу не видела, чтобы он курил. И жаром. От него шёл жар, как от печки.

— Ты что здесь делаешь.

Не вопрос. Он вообще, кажется, не умел задавать вопросы.

— Проверка сохранности арестованного имущества, — сказала я. Голос не дрогнул. Ну, почти. — Статья восемьдесят шесть Федерального закона «Об исполнительном производстве». Я имею право…

— В воскресенье.

— В любой день.

— Одна.

Я промолчала.

Он наклонил голову. Чуть-чуть. И я вдруг увидела себя его глазами — маленькую, в пуховике до колен, с красным от ветра носом и папкой, которую я прижимала к груди, как щит. И поняла, что он это тоже видит.

— Одна, — повторил он. Тише. И от этой тишины у меня волоски на руках встали дыбом под тремя слоями одежды. — Ты пришла одна. В воскресенье. В зал, где по будням тренируются сорок мужиков, половина из которых сидела. Ты вообще головой думаешь, пигалица?

Пигалица.

Я почувствовала, как у меня горят уши. Не от мороза.

— Я думаю головой, — сказала я очень вежливо. Когда мне страшно, я становлюсь очень вежливой. — А вы, гражданин должник, как я вижу, используете арестованное имущество. Ринг опечатан. А маты — нет. Груши — нет. Помещение — с правом пользования. Используется по назначению. Всё законно. Внесу в акт.

— Внеси, — сказал он.

И шагнул ещё ближе.

Полметра стало тридцатью сантиметрами. Тридцать — двадцатью. Мне пришлось задрать голову так, что шапка съехала на затылок. Он был везде. Его плечи закрыли мне весь зал, все окна, весь свет.

— Внеси, — повторил он, глядя сверху вниз. — Что видела. Всё внеси. Как есть. Номер детдома, фамилии. Вон ту коробку с бутербродами внеси. Отдай своему Ступину. Пусть порадуется.

— Почему это должно его порадовать?

Он не ответил. Только скулы у него закаменели.

И я вдруг поняла.

Он не хотел, чтобы кто-то знал. Не про долг. Не про клуб. Про это. Про рыжего Севу с разбитой коленкой. Про бинт двумя пальцами. Про «молодец».

Человек, которого полгорода боится до икоты, боялся, что кто-то узнает: он умеет говорить «молодец».

— Никому я ничего не отдам, — сказала я. И почему-то тоже тихо. — Это не относится к исполнительному производству.

Он смотрел на меня. Долго. У него были очень странные глаза. Светлые-светлые, как лёд на Волге у самого берега, где он ещё тонкий и под ним видно воду. Я никогда таких не видела.

И я вдруг заметила, что смотрю на его губы.

Твёрдые, сухие, с маленьким белым шрамом в углу.

Вот чёрт.

Вот чёрт, чёрт, чёрт.

Я отвела глаза. Быстро. Слишком быстро. И он это увидел. Я знаю, что увидел, потому что воздух между нами вдруг изменился. Стал другим. Плотным. Как перед грозой летом, когда всё замирает и даже мухи перестают жужжать.

Он поднял руку.

Я перестала дышать.

Он взял меня за шапку. За помпон. Двумя пальцами — как Севин бинт. И натянул её мне обратно на лоб. На уши. Медленно. Почти до бровей.

Костяшками он задел мне висок. Шершавыми, сбитыми, горячими.

Всего на секунду.

У меня подогнулись колени. Честно. Я до этого думала, что так бывает только в книжках, которые бабушка прячет под подушкой от меня, а я — от неё.

— Уши отморозишь, — сказал он хрипло. — Пристав.

И не убрал руку.

Она так и лежала у меня на макушке, поверх шапки. Тяжёлая, как каска. И я стояла под ней, задрав голову, с открытым ртом, как дура, и слушала, как у меня в ушах стучит кровь.

А потом он наклонился.

Не ко мне. К моему уху.

Я почувствовала его дыхание на шее — там, где между шарфом и воротником была узкая полоска голой кожи. Горячее, как из духовки. По этой полоске побежали мурашки — вниз, под пуховик, под форму, под термобельё, куда-то совсем туда, куда им бежать не положено по уставу.

— Ещё раз придёшь сюда одна, — сказал он мне на ухо, тихо и очень медленно, — я за себя не отвечаю. Поняла, Воробей?

Воробей.

Не пигалица.

Воробей.

Я не поняла. Я вообще ничего не поняла. Я только знала, что если он сейчас не уберёт руку, я сделаю что-нибудь, за что меня уволят по статье. И посадят. И правильно сделают.

— Руки, — сказала я. Получилось сипло. — Гражданин Ярцев. Руки.

Он убрал.

Сразу. Будто обжёгся.

И отступил на шаг. И снова стал тем, кем был в понедельник: стеной, бетоном, ледяными глазами и сжатыми кулаками.

Но я-то уже видела.

— А ты правда можешь всё отнять?

Тимоха сидел на скамейке в коридоре и жевал бутерброд с колбасой. Остальные пили чай из крышек от термоса, передавая их по кругу. Демьян ушёл в тренерскую — сказал, позвонить, но я слышала, как там что-то глухо стукнуло об стену. Наверное, позвонил.

— Не всё, — сказала я. — Только то, что по закону.

— А зал?

— Зал… — Я замялась. — Зал могут продать. Если долг не отдадут.

Тимоха перестал жевать.

Все перестали.

Десять пар глаз уставились на меня. И я вдруг поняла, что сейчас скажу какую-то правильную служебную фразу — и эти глаза станут такими, как у рыжего Севы на пороге. И что я этого не переживу.

— Но я проверяю, — сказала я быстро. — Я очень внимательно проверяю. Там, может, ошибка. Я ищу.

— А если не найдёшь?

— Найду.

Тимоха посмотрел на меня с сомнением. Оценивающе. Как на новенького в детдоме.

— Ты мелкая, — сказал он наконец. — Но злая. Демьян Андреич говорит, злые — они до конца идут. — Он откусил бутерброд и добавил с набитым ртом: — Ладно. Ищи. А то нам ходить больше некуда.

И протянул мне крышку от термоса с чаем.

Я взяла. Чай был сладкий до приторности, с лимоном. Кто-то набухал туда сахара ложек пять. На крышке был нарисован заяц — облезлый, мультяшный.

Я пила этот чай и смотрела на дверь тренерской.

Она была приоткрыта. Самую чуточку. И в щели я видела его спину. Он сидел на краю стола, опустив голову, и вертел что-то в руках. Маленькое. Розовое. Я не разглядела.

Потом он поднял голову — и посмотрел прямо на меня. Через щель. Как будто знал, что я смотрю.

И я подавилась чаем.

В акте я написала:

«Имущество находится в удовлетворительном состоянии. Пломбы на ринге не нарушены. Помещение используется должником по назначению».

Молодец…

На улице уже темнело. Я дошла до трамвайной остановки, встала под козырёк и полезла за телефоном, чтобы написать бабушке, что еду.

На экране висело сообщение. С незнакомого номера. Нет — со знакомого. С номера, который я удалила три года назад, а он всё равно остался где-то у меня в памяти. Как старый шрам, который ноет на погоду.

«Привет, Ник. Слышал, ты Ярцева ведёшь. Есть разговор. Не по телефону. А.»

Антон.

Откуда, интересно, мой бывший муж знает, какие у меня производства?

Глава 4. Двенадцатое августа

15–18 декабря 2024 года

Папку Шмель положил на капот.

Не в руки. На капот служебного «Патриота», потому что «Гелендваген» стоял опечатанный во дворе клуба, и Демьян второй день ездил на машине, в которой пахло собачьей шерстью и шерстяными нитками. В бардачке у Шмеля лежали спицы и недовязанный носок. Серый, с красной полоской. Спрашивать, кому, было бесполезно.

— Воробьёва Вероника Сергеевна, — сказал Шмель. Он вообще говорил так, будто каждое слово ему выдавали по талону. — Тридцать. Сормово. Бабка. Мать в Сочи. Отца нет.

Демьян открыл папку.

Фотография с удостоверения. Рыжая коса, туго заплетённая, ни волоска на свободе, по уставу… острый подбородок, глаза — серьёзные, как у первоклассницы на линейке. Веснушки даже на чёрно-белой копии.

Он закрыл папку.

Потом открыл снова.

— Дальше.

— Замужем была. Два года. Брагин Антон Олегович, опер, Сормовский отдел. Развелись в двадцать первом. — Шмель помолчал. — Она поручитель по его автокредиту. «Киа Рио», два миллиона триста. Он не платит. Платит она. Третий год. Двадцать восемь в месяц. Зарплата — пятьдесят одна.

Демьян поднял глаза.

Шмель смотрел на Волгу.

— Ещё, — сказал Шмель. — Мужики в отделе говорят, он её при всех называл пигалицей. И что она без него никто.

На набережной кричали вороны. Ветер нёс с реки ледяную крупу, и она секла по лицу, как песок. Демьян этого не чувствовал. Он чувствовал только, как внутри медленно, с хрустом, поворачивается что-то тяжёлое. Как ключ в старом замке.

Пигалица.

Он сам назвал её так. В первый же день. При всех. И она даже не моргнула — только вот бровь, совсем чуть-чуть, и пальцы на папке побелели.

А он, дебил, ещё подумал тогда: смешная.

— Где он сейчас? — спросил Демьян.

Шмель посмотрел на него долго. Потом достал из кармана сложенный листок и молча отдал.

Адрес гаражного кооператива.

— Ярый, — сказал Шмель ему в спину. Впервые за год назвал его так. — Без крови.

— Без крови, — сказал Демьян.

Гараж у Брагина был тёплый, с обогревателем и с плакатом на стене, где девушка в купальнике обнимала колесо.

Брагин был красивый. Это Демьян отметил сразу, без злости, как отмечают погоду. Высокий, светлый, с ровными зубами и подбородком, как в рекламе бритвы. Таким легко верят. Таким бабы отдают последнее и ещё извиняются, что мало.

Он стоял у верстака в куртке нараспашку и копался в телефоне. Когда дверь открылась, обернулся с улыбкой.

Улыбка продержалась секунды полторы.

— Ярцев, — сказал Брагин. Он был опер, он узнал сразу. — Ты чего тут…

Демьян закрыл за собой дверь.

Не хлопнул. Закрыл. Аккуратно, на защёлку.

Брагин попятился. Упёрся спиной в верстак. Рука дёрнулась к поясу — и замерла: пусто, табельное в сейфе в отделе, а тут только гаечный ключ на семнадцать.

Демьян подошёл. Взял его за отвороты куртки. Одной рукой. И поднял.

Не высоко. Сантиметров на десять. Ровно столько, чтобы носки ботинок Брагина перестали доставать до бетонного пола и чтобы он это почувствовал. Затылком — о полку с банками. Банки звякнули.

— Ты охренел?! — сипло сказал Брагин. — Я сотрудник! Это нападение на…

— «Киа Рио», — сказал Демьян.

Брагин заткнулся.

— Белая. Двадцать первого года. Стоит у тебя во дворе на Коминтерна. Кредит два триста. Поручитель — Воробьёва. — Он говорил спокойно. Ровно. Как на разборе. — Ты не платишь. Она платит. Третий год.

— Это… это наши дела, — выдавил Брагин. — Семейные. Тебе-то что? Ты чего за неё впрягаешься, Ярый? Она ж тебя описала. Она ж…

— Ещё раз.

— Что?

— Скажи ещё раз, что она.

Брагин посмотрел ему в глаза. И Демьян увидел, как опер понял. Всё понял — и что дверь на защёлке, и что гаечный ключ далеко, и что этот человек его не ударит. Просто не нужно. Достаточно, что держит.

— Ничего, — сказал Брагин. — Ничего она.

— До пятницы, — сказал Демьян. — Переоформляешь кредит. Без неё. Сам. Продаёшь машину, закрываешь, перекредитовываешься — мне всё равно. В пятницу она получает из банка бумагу, что больше никому ничего не должна. Если не получает — я приду в субботу. И в субботу я уже буду не в настроении.

Он разжал пальцы.

Брагин сполз по верстаку. Банки посыпались — одна разбилась, по бетону потекла какая-то синяя жидкость. Опер не поднимался. Сидел и тёр шею.

Демьян открыл защёлку.

На верстаке завибрировал телефон Брагина — экраном вверх. Высветилось имя. Две буквы.

Демьян на экран не посмотрел.

Зря.

С Антоном я встретилась в среду, в кафе у метро «Бурнаковская», потому что ненавижу недоговорённость. Это у меня профессиональное. Если должник пишет «есть разговор» — значит, будет разговор. Лучше сразу. Лучше при свидетелях. Свидетелем была официантка с пирсингом в брови, которой было на нас глубоко плевать.

Он опоздал на двадцать минут.

Как всегда.

Зашёл, отряхнул снег с чёлки — красиво, как в кино, он всегда это умел, — улыбнулся мне той улыбкой, на которую я в двадцать четыре года купилась, как кошка на валерьянку. Сел. Заказал себе латте на кокосовом. Мне — ничего. Тоже как всегда.

А потом размотал шарф.

И я увидела у него на шее синяк.

Длинный, багровый, четыре полосы. Как будто его кто-то держал за горло очень большой рукой.

— Ника, — сказал он и наклонился ко мне через стол. Голос — заботливый. Бархатный. Таким голосом он говорил «малыш, ну подпиши, это формальность». — Я по-хорошему. Ты знаешь, кто такой Ярцев?

— Должник, — сказала я. — Поручитель по…

— Он бандит, Ника. Он вчера пришёл ко мне в гараж и чуть не убил. Вот. — Он оттянул воротник. — Видишь? Из-за тебя. Он хочет, чтобы я переписал кредит. Ты понимаешь, что это значит? Он тебя покупает. Он к тебе подбирается, чтобы ты ему дело развалила. Это коррупция, малыш. Тебя посадят. А я, между прочим, волнуюсь.

Я смотрела на синяк.

Четыре полосы.

И думала почему-то не про коррупцию. Не про статью двести девяносто, не про служебную проверку, не про «посадят».

Я думала про то, как эта рука в воскресенье натягивала мне шапку на уши.

Двумя пальцами.

— Я тебя не просила обо мне волноваться, — сказала я.

— Ника…

— И его не просила. — Я встала. Пуховик зацепился за стул, стул проскрежетал по кафелю, официантка с пирсингом наконец-то на нас посмотрела. — Я сама плачу по своим долгам, Антон. Я три года сама плачу по твоим. Справлюсь.

— Пигалица, — сказал он мне в спину. Тихо. Почти ласково.

Я не обернулась.

Я дошла до двери. Открыла. Вышла на мороз. Дошла до остановки.

И только там, под козырьком, поняла, что у меня по щекам текут слёзы и на морозе превращаются в соль.

Злые.

Не на Антона. На Антона я давно не плачу.

На другого.

В клуб я пришла в одиннадцатом часу вечера.

Одна.

Да. Опять. Я помню, что он сказал. Я каждое слово помню, у меня их на шее до сих пор отпечаталось — там, где было его дыхание. «Ещё раз придёшь одна — я за себя не отвечаю».

Вот и не отвечай. Я сама за всё отвечу.

Дверь была открыта. В зале — темно, только в глубине, в тренерской, горел свет. Груша на цепи медленно качалась, как будто её только что ударили и она ещё не успокоилась.

Он сидел за столом. Без футболки.

Вот это я не учла.

На плечах у него блестел пот. На спине — я видела в зеркало на стене — был шрам. Длинный, белый, от лопатки вниз, будто кто-то провёл по нему мелом. Руки он держал в миске со льдом. Костяшки. Опять. Он вообще когда-нибудь даёт им зажить?

Он поднял голову.

И ничего не сказал.

Просто смотрел, как я иду к нему через весь тёмный зал — в пуховике, в берцах, со шмыгающим носом, — и в глазах у него ничего не менялось. Только руки в миске со льдом медленно сжались в кулаки.

— Вы, — сказала я. И голос у меня сорвался, и я разозлилась ещё сильнее. — Вы не имели права.

— Сядь.

— Не сяду! Вы пришли к моему бывшему мужу. Вы его… — Я задохнулась. — Вы его за горло держали, гражданин Ярцев! Сотрудника полиции! Вы понимаете, что он напишет заявление? Что это уголовная статья? Что вы мне…

— Что я тебе.

— Что мне это не нужно! — выпалила я. — Мне не нужно, чтобы за меня кто-то впрягался! Я не просила! Я сама плачу по своим долгам! Я сама…

Он встал.

Вода со льдом плеснула через край миски. Стул отъехал. И он оказался прямо передо мной — весь, целиком, голый по пояс, горячий, мокрый, огромный, как стена, о которую разбиваются машины.

Я отступила.

На шаг. На два. Пока не упёрлась лопатками в шкафчик для перчаток. Металл был холодный, а он — горячий, и я оказалась ровно посередине, как в бутерброде из льда и огня.

Он упёрся ладонями в шкафчик по обе стороны от моей головы. Не трогая. Ни одним пальцем.

Мне некуда было деться.

Мне некуда было смотреть, кроме как на него. На ключицы. На капли пота в ямке на шее. На то, как ходит вверх-вниз его грудь, тяжело, будто он только что пробежал десять километров.

— Он называл тебя пигалицей, — сказал он. Очень тихо. Мне в макушку.

Я замерла.

— Он оставил тебя с кредитом и ушёл к другой. И говорил, что ты без него никто. — Пауза. — А я пришёл в первый же день и сказал тебе то же самое слово. При всех.

— Вы… — Я сглотнула. — Это не имеет отношения к…

— Имеет. Считай, я так извинился.

Он наклонился ниже. Его лоб почти коснулся моего. Я чувствовала его дыхание на губах — горячее, с горечью, с мятой.

— Я больше не скажу, — сказал он. — Слышишь? А он — тем более.

И я сломалась.

Не знаю, кто первый. Честно. Я потом много раз прокручивала это в голове, как запись с видеорегистратора, кадр за кадром, — и так и не поняла. Помню только, что я встала на цыпочки. Может, он наклонился. Может, мы оба одновременно, как два поезда на одном пути.

Он поцеловал меня так, будто ненавидел.

Жёстко. Зло. Без спроса. Внедрился в мой рот. Пуховик зашуршал, шапка свалилась куда-то на пол, его рука — мокрая, ледяная от миски — легла мне на затылок, на мою тугую косу, и притянула ближе. Не сильно. Я могла бы вырваться — одно движение, и он бы отпустил. Я это знала.

Я не хотела.

Вот в чём ужас. Да уж, лейтенант Воробьёва, докатилась.

Я вцепилась ему в плечи — пальцами, ногтями, — и плечи были скользкие от пота и каменные, и я целовала его в ответ так же зло, как он меня, и у меня внутри всё орало, что это статья, что это увольнение, что это конец, а тело плевать хотело на Уголовный кодекс и прижималось к нему, к голой груди, к жару, к стуку его сердца, который я чувствовала даже через три слоя одежды.

Он оторвался от меня. На сантиметр. Дышал как зверь.

Смотрел на мои губы.

И я ударила его по лицу. С чего вдруг?

Со всей силы. Ладонью. Звонко — эхо ушло в тёмный зал и вернулось обратно.

Голова у него даже не дёрнулась. Только на щеке медленно проступило красное пятно. Маленькое. Размером с мою ладонь.

Он смотрел на меня сверху вниз. И что-то в его прозрачных глазах вдруг стало тёмным. Очень тёмным. Как вода подо льдом.

— Ещё, — сказал он хрипло.

У меня подкосились ноги.

Не от страха.

Я поднырнула ему под руку, схватила с пола шапку и побежала. Через весь зал, мимо качающейся груши, мимо опечатанного ринга, в берцах на размер больше, — и не упала. Не знаю как. Наверное, газета в носке помогла.

Он не пошёл за мной.

Я слышала, как за спиной в темноте он ударил грушу. Один раз. Так, что загудели цепи под потолком.

Утром в пятницу в отдел пришёл ответ на мой запрос.

Я отправила его ещё в понедельник — официально, через канцелярию, как положено. В Москву. В госпиталь. «Прошу сообщить, находился ли на стационарном лечении гражданин Ярцев Д. А., 1983 г. р., в период…»

Факс был кривой, с полосами. Но читался.

«…находился на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении с 05.08.2023 по 21.08.2023. 11.08.2023 проведено оперативное вмешательство. Покидать отделение в указанный период не мог».

Двенадцатое августа. На следующий день после операции на позвоночнике.

В Нижнем Новгороде, за четыреста километров. В банке. С ручкой в руке. Ставит идентичную подпись.

Ну-ну.

Я сидела над этим факсом и чувствовала, как у меня горят губы. До сих пор. Вторые сутки. Я их кремом мазала, бальзамом, бабушкиным облепиховым маслом — горят.

В дверь заглянул Ступин. Усы — пышные, добрые. Глаза — нет.

— Воробушка, — сказал он ласково. — Хорошие новости. Банк настаивает на изъятии до оценки. Есть риск, что должник выведет имущество. Я согласовал. В понедельник в шесть утра едешь в клуб. Не одна, не бойся. С ОМОНом.

Он улыбнулся.

— Оперативно, Воробушка. Оперативно.

Дверь закрылась.

А я смотрела на факс. И на дату. И вдруг поняла, почему мне так страшно.

Не из-за ОМОНа.

А потому что я точно знала, что Ярцев будет делать, когда увидит в шесть утра у своей двери людей с автоматами.

Он будет драться.

А я буду стоять между ними.

Глава 5. Воспрепятствование

21 декабря 2024 года

В субботу мне пришло письмо из банка.

Не электронное. Настоящее, в конверте, с синей печатью. Бабушка принесла его из почтового ящика, держа двумя пальцами, как дохлую мышь, потому что за последние три года из этого банка нам приходило только плохое.

«Уважаемая Вероника Сергеевна. Сообщаем, что договор поручительства № … прекращён в связи с полным досрочным погашением обязательств заёмщиком».

Полным. Досрочным.

Антон продал «Киа Рио».

Я сидела на табуретке в прихожей и перечитывала эти две строчки, наверное, раз двадцать. Двадцать восемь тысяч в месяц. Тридцать четыре платежа, которые я уже сделала. Шестнадцать, которые мне оставалось. Отпуск, который я не взяла. Зимние сапоги, которые я не купила, поэтому хожу в берцах и зимой, и осенью, и на день рождения к Лёвиной маме.

Всё.

Нет.

— Никуша, — сказала бабушка из кухни. — Ты чего там затихла? Кого-то посадили?

— Нет, ба.

— А что тогда?

Я не знала, что тогда. Я знала только, что это сделал он. Без спроса. Без звонка. Без «можно». Взял моего бывшего мужа за воротник — четыре полосы на шее — и решил мою жизнь, как решают задачку на контрольной. Быстро, правильно, не показывая ход решения.

И мне хотелось его убить.

И ещё мне хотелось плакать. От облегчения. Так, как плачут, когда три года несёшь в рюкзаке кирпич и вдруг кто-то этот кирпич вынул, а ты по привычке продолжаешь сутулиться.

И ещё — вот это было хуже всего — мне хотелось, чтобы он снова поцеловал меня у шкафчика для перчаток.

Я положила письмо в ящик тумбочки. Под паспорт.

И два дня не спала.

В понедельник в пять сорок утра на Нижне-Волжской набережной было темно, как в кармане у налоговой.

Два автобуса с ОМОНом стояли у клуба с выключенными фарами. Из них сыпались крупные мужчины в чёрном, с автоматами и щитами, и строились в шеренгу, и снег под ними хрустел так, будто по нему шло стадо бронированных носорогов. За ними — эвакуатор. За эвакуатором — серая «Ауди» оценщика. Оценщика нашёл Ступин. «Хорошего, проверенного». Оценщик сидел в машине, не выходил, и курил в приоткрытое окно.

Лёва стоял рядом со мной и ел пирожок. С мясом. С мясом он ест, когда у него паника.

— Ник, — сказал он с набитым ртом. — Ник, я тебя очень прошу. Давай мы не будем. Давай мы просто… отдадим команду, и всё. Ты же не обязана…

— Обязана, — сказала я.

Потому что исполнительные действия проводит судебный пристав-исполнитель. Не ОМОН. Не оценщик. Не Ступин в тёплом кабинете с фикусом. Пристав. Я. Сто пятьдесят пять сантиметров в синем пуховике, которые в этом документе пишутся одной строчкой: «Воробьёва В. С.».

И без моей подписи никто туда не войдёт.

Командир ОМОНа подошёл ко мне — майор, огромный, усатый, с лицом, на котором было написано, что он с пяти утра на ногах и все приставы мира у него вот где.

— Лейтенант. Ну что, работаем?

Я кивнула.

И пошла к двери.

Дверь открылась раньше, чем я позвонила.

Он стоял на пороге.

В чёрной футболке. Босиком на ледяном бетоне. Как будто ему было всё равно, что на улице минус двадцать два. Как будто холод был слабый, а слабые рядом с ним не выживают.

За его спиной, в освещённом зале, стояли его ребята. Человек двадцать. Пельмень Колян. Здоровенный бородатый, которого я запомнила по прошлому разу, — Гриша, тоже Гриша, не наш. Двое братьев-близнецов, похожих на два холодильника. И Шмель — тихий, с вязаньем, торчащим из кармана куртки. Никто не прятался. Все стояли и смотрели на автоматы так, как смотрят на погоду.

Я знаю этот взгляд. Это взгляд людей, которые не будут отступать.

Демьян посмотрел поверх моей головы. На шеренгу. На щиты. На эвакуатор.

Потом — на меня.

И я увидела у него в глазах то, от чего у меня по спине прошёл мороз, хотя я вроде и так стояла на морозе.

Он был не злой.

Он был спокойный.

Очень, очень спокойный.

Как человек, который уже всё для себя решил.

— Значит, так, — сказал он. Не мне. Через меня. Майору. Голос был ровный, как лезвие. — Внутри двадцать человек. Все трезвые, все злые, все умеют. Я не дам вам войти в мой зал до оценки, потому что вы его не опишете — вы его растащите. Хочешь штурмовать — штурмуй. Но ты знаешь, как это будет. И я знаю. Я так десять лет работал.

Майор переступил с ноги на ногу. Шеренга за его спиной тоже чуть шевельнулась — я услышала, как кто-то снял автомат с предохранителя. Тихий, железный щелчок. От него у меня свело живот.

Я знаю, как звучат шесть утра, когда всё вот-вот пойдёт не так.

И я шагнула вперёд.

Прямо между ними. Между ним и шеренгой. Встала к нему спиной — к нему, к этой стене горячего злого тела, от которой даже на морозе шёл жар, — а лицом к автоматам.

Сто пятьдесят пять против ста девяноста двух. И ещё против двадцати за его спиной. И против тридцати передо мной.

Пуховик, кажется, был больше меня.

— Товарищ майор, — сказала я громко. Очень вежливо. Очень-очень вежливо. — Судебный пристав-исполнитель Воробьёва. На основании статьи тридцать восьмой Федерального закона «Об исполнительном производстве» я откладываю исполнительные действия по изъятию имущества должника на срок до десяти дней. В связи с поступлением документов, ставящих под сомнение законность исполнительного документа. Постановление будет вынесено сегодня до двенадцати ноль-ноль. Прошу прекратить мероприятие и отвести личный состав.

Тишина.

Такая, что я услышала, как в «Ауди» оценщик уронил сигарету.

— Лейтенант, — медленно сказал майор. — Ты… вы это серьёзно?

— Абсолютно, товарищ майор. Под мою ответственность. Внесу в акт.

Он посмотрел на меня. Потом поверх меня — на Демьяна. Долго. Как смотрят друг на друга два человека, которые служили, пусть и в разных местах, и знают одно и то же.

Потом майор сплюнул в снег.

— Отбой, — сказал он через плечо. — По машинам.

И шеренга развалилась. Не сразу. Медленно, неохотно, с ворчанием, как развалилась бы стенка в дворовой драке, если бы в середину вышла чья-то бабушка с половником.

Автобусы заурчали.

Эвакуатор развернулся, царапая сугроб.

Серая «Ауди» уехала первой. Очень быстро. Я записала номер.

И только когда последний автобус скрылся за поворотом на Рождественскую, я поняла, что у меня трясутся колени. Так, что я сейчас сяду прямо в снег.

А за моей спиной кто-то стоял.

Очень близко.

Я не обернулась. Я и так знала, кто.

Я чувствовала его. Всей спиной. Через пуховик. Его жар, его дыхание у меня над макушкой, его молчание — тяжёлое, как плита.

— Ты, — сказал он. И замолчал.

— Я, — сказала я.

— Ты встала перед автоматами.

— Я провела исполнительное действие.

— Ты встала перед автоматами, Воробей. Спиной ко мне.

И голос у него был такой, что я наконец обернулась.

Он смотрел на меня сверху вниз, босиком на ледяном бетоне, и у него на лице было что-то, чего я не видела ни разу. Ни в понедельник, ни в воскресенье с детьми, ни у шкафчика для перчаток.

У него было лицо человека, которого только что напугали. Впервые за десять лет.

А ещё у него на щеке — едва-едва, если знать, куда смотреть, — желтел маленький синяк. Размером с мою ладонь.

— Ты больше никогда так не сделаешь, — сказал он.

— А вы больше никогда не будете решать за меня мои долги, — сказала я. — Ни-ког-да. Вы поняли, гражданин должник? Мне пришло письмо из банка. Я не знаю, что вы сделали с Антоном, я не хочу знать, но это… — У меня сорвался голос. Опять. Да что ж такое. — Это был мой кредит. Мой. Моя ошибка. И я бы сама…

— Знаю, — сказал он.

— Что вы знаете?!

— Что ты бы сама. — Он помолчал. — Ещё шестнадцать месяцев. В берцах.

У меня перехватило горло.

Он развернулся и ушёл в клуб.

Босиком. По снегу. Не оглядываясь.

А Шмель, проходя мимо меня, вдруг остановился, достал из кармана куртки моток серой шерсти со спицами — недовязанный носок, серый, с красной полоской, — внимательно посмотрел на мои ноги, на берцы, что-то прикинул в уме, кивнул сам себе и пошёл дальше.

Ступин орал так, что у меня в трубке потрескивал динамик.

«Ты понимаешь, что ты сделала?», «Банк уже звонил в управление!», «Ты кто такая, чтобы откладывать?», «Если к пятнице…». Потом успокоился. Потом опять стал «Воробушкой». Голос у него на «Воробушке» чуть дрогнул, на полтона. Как у человека, который понял, что сейчас надо быть ласковым, иначе будет хуже. Ему.

Я вынесла постановление об отложении. До двенадцати ноль-ноль, как обещала. Отправила копии сторонам. Подшила к делу факс из госпиталя.

А в шесть вечера вернулась в клуб — составлять акт сохранности. Потому что раз я отложила, значит, я отвечаю, что за десять дней отсюда не вынесут даже скакалку.

Ну и Лёва сказал: «Ник, без меня. У меня мама».

Так что одна.

Да. Снова.

Да, я помню.

К восьми пошёл снег. К девяти — метель. Настоящая, волжская, когда в окнах не видно даже фонаря на другой стороне улицы, а ветер с реки воет в старых купеческих трубах, как будто там внутри застрял целый хор плакальщиц.

В клубе никого не было. Ребят он отпустил в шесть, Шмеля отправил за чем-то в Сормово. Остались только мы. Я — за столом в тренерской, с актом, ручкой и остывшим чаем из его кружки, потому что другой не было. Он — в зале. Бил грушу. Ритмично. Глухо. Один, два. Один, два. Как сердце, которое стучит слишком медленно и слишком сильно.

Я писала акт. «Тренажёр силовой, 1 шт.». Удар. «Груша боксёрская, 4 шт.». Удар. «Скамья…» Удар.

На «скамье» удары прекратились.

И в ту же секунду погас свет.

Весь. Сразу. Как будто кто-то выключил город.

Я сидела в полной темноте и слышала, как гудит метель. Как где-то с грохотом падает на крышу пласт снега. Как в зале что-то щёлкнуло — тихо, механически, — и у меня внутри всё оборвалось, потому что я знала этот звук. Я сама опечатывала эту дверь две недели назад. Электромагнитный замок. Без электричества он не открывается. Ни снаружи, ни изнутри.

Телефон показывал два процента и ни одной палочки связи. Метель.

Замечательно. Пристав-исполнитель Воробьёва заперта в опечатанном здании должника на ночь. Внесено в акт.

Шаги.

Не слышные. Я их не слышала — я их чувствовала. Как изменилась темнота. Как стала плотнее у двери тренерской.

Луч фонарика ударил в стол, в мои руки, в акт. Потом поднялся мне в лицо. Я зажмурилась.

— Замок, — сказал он из темноты. — До утра. Пока не дадут свет. Шмель снаружи, но через эту дверь даже он не пройдёт. Я её сам выбирал.

— Окна, — сказала я.

— Решётки. Тоже сам выбирал.

— Вы что, строили бункер?

— Я строил место, куда никто не войдёт без спроса.

Он опустил фонарик. Свет лёг на пол, и я увидела его — снизу вверх, как всегда. Мокрая от пота футболка. Бинты на руках. Тяжёлая грудь ходит вверх-вниз. Тени на лице, как на старой гравюре.

И глаза. Тёмные. Совсем. Ни следа того прозрачного льда.

— Отопление на электрике, — сказал он. — Через час здесь будет как на улице.

— Ничего, — сказала я. — Я в пуховике.

Он помолчал.

— Иди сюда, Воробей.

— Это не по уставу.

— Здесь нет устава, — сказал он тихо. — Здесь минус двадцать, ночь, метель и я.

И протянул мне руку.

Я смотрела на эту руку в луче фонарика. Большую. Перебинтованную. С разбитыми костяшками, которые ему никто никогда не давал залечить.

Она не дрожала.

Дрожала я.

И я точно знала — так же точно, как статью тридцать восьмую, как номер серой «Ауди», как сумму, которую я больше никому не должна, — что если я сейчас возьму эту руку, то утром я буду уже не той Никой Воробьёвой, которая пришла сюда с актом.

Я взяла.

Глава 6. Ринг

Ночь с 21 на 22 декабря 2024 года

Рука у неё была ледяная.

Демьян взял её — и чуть не выпустил. Как будто сунул ладонь в сугроб. Маленькая, узкая, с тонкими пальцами, с мозолью от ручки на среднем — она, видать, все эти свои акты писала от руки, по старинке, нажимая так, будто протыкала бумагу.

И она дрожала. Вся. Мелко-мелко, как воробей на проводе.

— Ты сколько тут сидишь, — сказал он. Не спросил.

— С шести.

— Без перчаток.

— Я пишу. В перчатках неудобно писать.

Он выругался. Коротко, сквозь зубы, так, как ругаются на учениях, когда кто-то из молодых в минус тридцать снимает шапку, «потому что голова потеет».

Потом сгрёб обе её руки в одну свою ладонь. Поместились. Обе. Целиком. И держал. Просто держал — и чувствовал, как его жар уходит в эти ледышки, как в землю уходит ток.

Она не вырывалась.

Она стояла и смотрела на их руки в луче фонарика, который валялся на столе, светя в стену. И у неё было такое лицо, будто она впервые в жизни видит, как люди держатся за руки, и пытается понять, по какой статье это проходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.